

# ФИНИТА ЛЯ ТРАГЕДИЯ

Театральный роман



**Вадим Владимирович Зеликовский**  
**Финита ля трагедия**

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=3140805](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3140805)*  
*Финита ля трагедия:*

**Аннотация**

Фантасмагорические истории, происходившие с актерами столичного «Театра на Стремянке» в счастливые застойные времена.

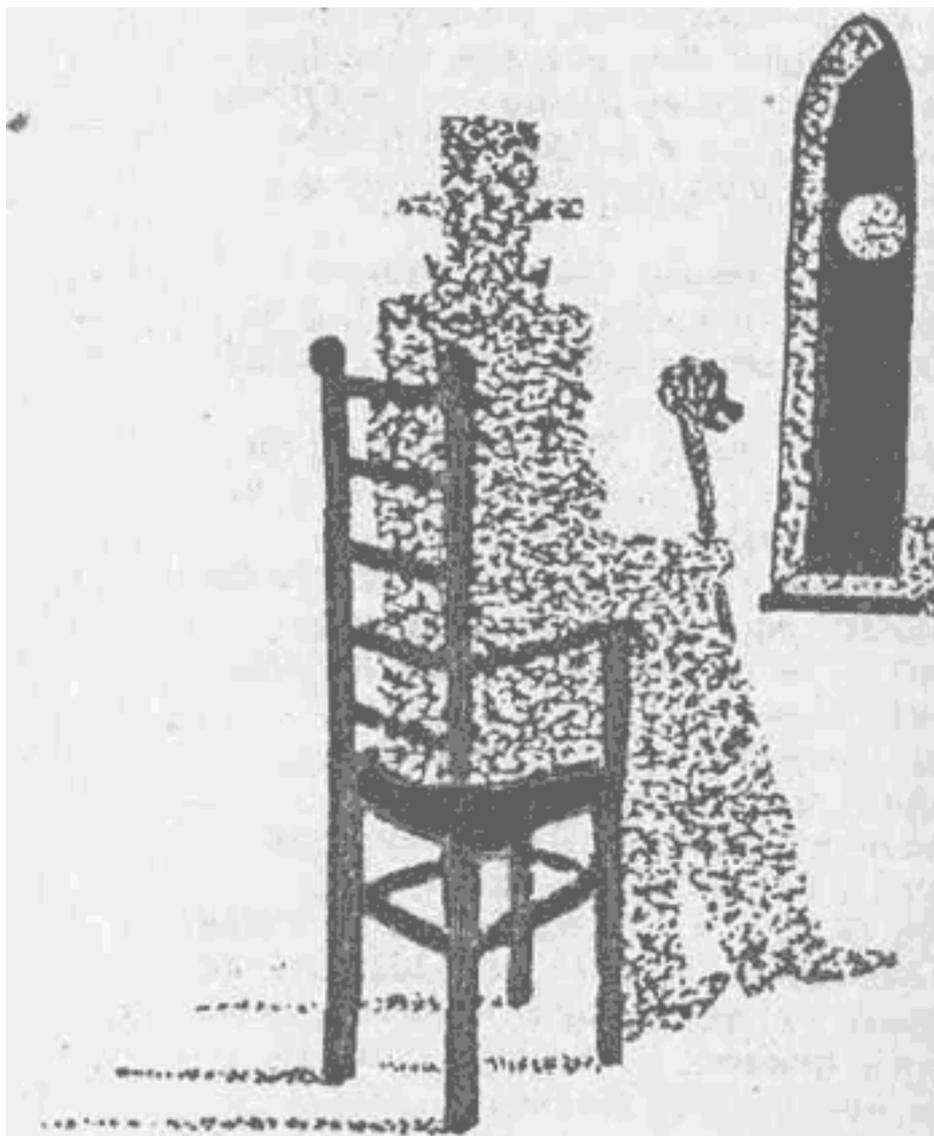
## Содержание

К вопросу об эпиграфе	5
Биография романа	6
Глава 1. Остров	10
Глава 2. Театр	12
Глава 3. Первый звонок	17
Глава 4. Племянник	20
Глава 5. Странное утро	24
Конец ознакомительного фрагмента.	36

# Вадим Зеликовский Финита ля трагедия *Театральный роман*

*Есть много в мире, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...*

*В. Шекспир*



## **К вопросу об эпиграфе**

Вышеизложенный, как, впрочем, и всякий другой, имеет то неоценимое качество, что как бы вкратце раскрывает смысл дальнейшего повествования. А, кроме того, принадлежит перу бессмертного Шекспира, и уже только поэтому не может помешать в начале повествования.

## Биография романа

Я знал, что будет так.

Предчувствие рождалось в полночь. Время наиболее подходящее. Из самой глубины моего живота выползал страх и располагался на ночь. На свету я только помнил о нем.

Но ночью...

Страх – мое наследство. Его копили многие предки мои, но достался он мне. Не хотел я его! Но ведь и клады находят не те, кто ищет. Это всего лишь случай, проделки Судьбы. Он не достался моему отцу. Не пришлось на сына моего, которого в то время еще не было. Он стал моим. И точка! Заложен он был в меня еще в материнской утробе, и корни его тянулись к моим далеким пещерным предкам.

На двадцать первом году своей довольно спокойной и в меру счастливой жизни, а именно девятнадцатого июня в удушливую белую ночь, на канале Грибоедова, возле церкви «Спас на крови», которая к тому времени только снаружи выглядела как церковь, а внутри была всего лишь навсего складом театральных декораций, каким-то неосторожным движением души я выпустил этот страх на волю. И он тут же прижал мое тело к чугунной ограде вонючего канала.

Боже, давно это было.

В начале страх появлялся только ночью. Он вежливо стучался, я вздрагивал и отталкивал пришедший было сон. И тогда страх брал за горло. Это было странное и жуткое чувство: я, здоровый и сильный физически, еще очень молодой человек, боялся не дожить до утра. Каждую ночь я бессонно ждал серых проблесков рассвета, чтобы наконец заснуть.

Но и в ожидании своем не был я одинок. Рассвета дожидался и мой проклятый страх, чтобы уйти в самые сокровенные глубины подсознания, где по-прежнему жил он днем. Его ждала и, дождавшись, вновь и вновь отступала до неведомого своего часа, может быть, далекая моя смерть. Но как только возвращалась ночь, тут же возникали мысли о ней, а вслед за ними приходила и она сама – страшная, черная и неизбежная, садилась на край моей распахнутой бессонницей кровати.

Я боялся ее.

О, как я боялся ее неизбежности и черноты. Но главное – этого проклятого: когда? И я гнал сон...

Врачи определяли все очень просто: неврастения. Таков был мой официальный диагноз. Возможно, так оно и было. Каждую ночь мы проводили вчетвером: я, страх, смерть и неврастения. Потом появился пятый.

Дней того периода я не помню. Безусловно, я что-то делал тогда; возможно, даже пытался писать. Но вся память о том времени потерялась где-то, ушла, как вода в песок... И встреч того времени не помню, и разговоров...

Только страх.

Вздрагивание, липкий холодный пот, темнота, ожидание...

Единственное окно моей комнаты упиралось в стену черного хода: грязную, с отлетевшей штукатуркой и мокрыми пятнами плесени. Высоко, зажатое крышами, томилось небо. Днем я никогда не глядел в окно, ночью – всегда. И когда в серых предрассветных сумерках едва обозначался рваный бок стены, я, вздохнув с облегчением, засыпал.

И начинался день...

Творилось со мною непонятное: глаза по цвету сливались с почерневшей кожей под ними и горели беспокойным огнем. Женщины усматривали в этом некие признаки темпера-

мента демонического и в моем присутствии вели себя неестественно вызывающе. Без всяких причин я терял вес. Мгновенно. За один день. Потом набирал его опять. Так же быстро.

В ушах стоял звон. С подоконников и балконов на голову летели капли. Мелкая изморось омывала лицо. На юге это называют зимой. (К тому времени я уже вернулся из Питера домой в Одессу). Возможно, был январь. Почему я знаю?

Каждый день я просыпался около полудня и, как был в одних трусах, выходил на веранду.

Там тек туман.

От него начинал болеть затылок. Я возвращался в свою квадратную комнату и закрывал ставни. Затылок болеть не переставал.

Я никак не мог устроиться со светом в своей комнате. Когда горела настольная лампа, изо всех углов, во всяком случае, мне так казалось, в спину глядели какие-то гнусные рожи. Я с остервенением вбивал штепсель в розетку, и тогда на потолке с шарманочным звуком разгоралась лампа дневного света.

Клянк-клянк...

Проклятый звук. Я ненавидел его. Одна трубка в лампе не светила уже второй год. Поменять ее у меня не было ни сил, ни желания.

Клянк-клянк!..

Комната освещалась мертвым серебристым светом. От него становилось дурно. Я возвращался в постель и с головой накрывался одеялом, но свет не тушил. Через какое-то время приходила бабушка. Она должна была думать, что у меня все в порядке, и я старался дышать ровно. Чаще всего мне это удавалось. Постояв немного возле моей постели, бабушка тушила свет.

Газ в лампе еще долго светился. Я физически чувствовал его свечение, хотя был укрыт с головой. Ступая на цыпочках, бабушка выходила из моей комнаты.

Начиналась ночь...

Моя пишущая машинка сломалась. Однажды утром безо всякой видимой причины она перестала работать. Умерла и сразу стала неприглядной и лишней. Мне не захотелось ее чинить. С некоторого времени на моем письменном столе вся семья приспособилась готовить себе бутерброды, благо холодильник стоял рядом. Кругом на яркой зелени сукна валялись неубранные крошки. Они сохли и колочье скрипели под руками. Что было мерзко до противоположного.

И еще я был болен.

В мою болезнь не верили даже врачи. Внешне, кроме черных кругов под глазами, она никак не проявлялась. Когда я заговаривал о них с врачами-мужчинами, мне игриво подмигивали. О том, как к ним относились женщины, я уже писал.

Мне шел двадцать третий год.

В самую обычную ночь в конце февраля, когда за окном нудно лил дождь, все и произошло...

Он вышел из угла комнаты и присел на край моей кровати. Он не поздоровался. Не представился. Просто заговорил со мной, как со старым знакомым. Его амикошонство меня почему-то успокоило. Я выполз из-под одеяла и, упершись головой в резную кроватную спинку, сел на подушку. Глянул в окно. Оно было черным. Во рту у меня появился сладковатый вкус крови.

Но и это меня не напугало, я слушал.

– Я долго не знал, что мне делать с вашим чудным самомнением... – между тем нетопливо говорил он. – Каждый твой предшественник был одержим им. Раньше я никак не мог решить, что же мне с ним делать. Но потом привык. Можешь называть меня, ежели

угодно, Племянник. Пусть тебе кажется, что ты сам меня придумал! Так считать – твое право. Ты ведь сейчас думаешь, что я всего лишь плод твоего болезненного воображения...

Он был прав: я думал именно так.

– Болезнь – лишь предлог! – поучающе продолжил он. – Причина – совсем, совсем другая... – тут назвавшийся Племянником замолк. Его молчание не тяготило меня, оно давало возможность думать.

– Причина другая... – задумчиво повторил он. – Разговор бы у нас состоялся все равно. Рано или поздно. Болезнь только приблизила его. Ты очень рано открыл в себе страх, обычно он приходит ближе к старости. Когда, чаще всего, уже поздно. Ибо страх перед неведомым, что стоит за смертью, порождает веру. Ты уже сделал первый шаг. Я могу говорить с тобой. При моем появлении ты не перевернулся на другой бок и не заснул, не щипал себя за руку, не зажег свет. Ты уже ждал меня!..

И снова наступило молчание. Я смог подумать о вере. Сама по себе пришла мысль, что вера – первонеобходимое человеческое чувство. И ничто так не карается после жизни, как неприобретение ее или же утрата...

Потом я понял, что эта мысль пришла ко мне не сама.

Он заговорил опять.

– Я мог бы открыть тебе, когда ты умрешь. Но зачем? Тебе не станет от этого легче.

Я подумал, что он прав. Хотя еще мгновение назад мне казалось, что знание своего часа успокоило бы меня, и хотел просить открыть мне его.

– Я рад, – сказал он, – что ты со мной согласен...

Я попытался его разглядеть. К тому времени он уже пересел в кресло, стоящее возле окна, и сидел, не сняв цилиндра, закинув ногу за ногу. Его длинные худые пальцы крепко сжимали трость. Но мне почему-то казалось, что он сидит, несмотря на свою позу, затылком ко мне. Когда мои глаза окончательно привыкли к темноте, я убедился, что так оно и есть.

Но и такая дикая странность меня не испугала и даже не смутила. Более того, я воспринял ее, как должное.

– Ты хочешь стать писателем! – между тем твердо произнес он после очередной паузы.

Я вспотел.

Да, да, да, стучало, как дятел, у меня в мозгу, но язык мой, сам по себе запинаясь, пролепетал: «Дело в том, что у меня сломалась пишущая машинка, и на моем столе готовят бутерброды...»

Больше я ничего не успел сказать, хотя хотел произнести еще много слов. Очевидно, ему они были незачем. Он наперед знал все, что я мог ему сказать.

– Ты должен написать роман! – тоном, не терпящим возражений, произнес он.

– О чем? – с трудом выдавил я из себя. Я не собирался писать роман.

Он не ответил.

Я не помню, как я оказался возле письменного стола. В доме все спали. Я сидел спиной к своему ночному гостю, и мне мучительно хотелось оглянуться. Какое-то время я боролся с соблазном, потом послушно взял обыкновенную школьную ручку с пером, которой давно уже никто не пишет, и обмакнул ее в бронзовую чернильницу. Я мог бы поклясться, что еще минуту назад ни того, ни другого на моем столе не было.

Но этого мало, кроме них на девственно чистом зеленом сукне также откуда-то взялась толстая стопка писчей бумаги серовато-коричневого цвета. На верхнем листе чужим четким почерком с резким наклоном влево было написано:

*«Финита ля трагедия»*

Так я впервые увидел это странное название. То, что услышано мною от моего ночного гостя после и записано на серовато-коричневых листах перьевой ручкой, – неожиданно, тревожно и удивительно...

## Глава 1. Остров

Эфесом шпаги раздвигая гибкие стебли, свисавшие отовсюду, как подвешенные за хвост змеи, Иван Борисович с трудом пробивался сквозь густые заросли лиан туда, где по его расчетам пролежала военная тропа. Тяжелый арбалет, перекинутый через плечо, больно бил его по спине и бокам. От крупного, красивого тела Ивана Борисовича, втиснутого в узкую кольчугу, поднимался светлый младенческий пар, который тут же растворялся в густых испарениях тропического леса. Оружие мешало ему. Под его изнуряющей тяжестью он еле переставлял ноги, прикрытые медными щитками с изображением римского орла на каждом.

Внезапно он споткнулся о разлапистый корень и покатился на землю со звоном и скрежетом, раздирая головой в серебристом шлеме густой лиановый занавес. Пролетев метра два, он очутился на самой середине так долго разыскиваемой тропы. Не вставая, он припал ухом к сырой земле и вскоре услышал отдаленный топот.

– Это они! – достаточно громко для своего одиночества произнес Иван Борисович и приподнялся на одно колено.

После чего, отложив в сторону ненужную уже шпагу, он с превеликим трудом добыл из чеканных ножен короткий гладиаторский меч. Утерев свое породистое лицо кружевным батистовым платочком, вынутым откуда-то из-под кольчуги, Иван Борисович хорошо поставленным голосом начал читать монолог. Говорил он на сей раз шепотом, но с выражением:

*Теперь как раз тот колдовской час ночи,  
Когда гроба зияют и заразой  
Ад дышит в мир: сейчас я жаркой крови  
Испить бы мог и совершить такое,  
Что день бы дрогнул. Тише!..*

Иван Борисович поднял руку с зажатым в ней мечом, как бы призывая тропический лес к молчанию. Так и застыл он – коленопреклоненный с высоко поднятым мечом в правой руке, охваченной стальным рукавом кольчуги, из-под которого неуверенно выглядывало седое брабантское кружево сорочки.

Нарастающий топот разрушил сей величественный монумент. Быстро вскочив на ноги, Иван Борисович отпрянул в густую лиановую тень и оттуда, держа меч перед собой на вытянутых руках, нервной скороговоркой продолжил чтение монолога бессмертного драматурга в переводе Лозинского:

*Назад, мой меч, узнай страшной обхват,  
Когда он будет пьян или во гневе,  
Иль в кровосмесных наслажденьях ложа,  
В кощунстве, за игрой, за чем-нибудь,  
В чем нет добра, – тогда его шиби,  
Так чтобы пятами брыкнул он в небо,  
И чтоб душа была черна, как ад,  
Куда...*

Топот был близок.

Не закончив монолог, чего с ним ранее никогда не случалось, Иван Борисович Мышкин – ведущий актер «Театра на Стремянке» – быстро, но осторожно; чтобы не обрезать, поднес меч к своим пухлым капризным губам и, нежно поцеловав его, скрылся в чаще.

## Глава 2. Театр

*Наконец-то! Какашкин меняет фамилию на Любимов.  
И. Ильф «Записные книжки»*

В Москве стоял дом.

Дом был поставлен в конце прошлого века и посему стоял уже долго. Некоторые говорили, что он был ровесником Художественного театра. Но это они, возможно, и ввали. Чего только ни придумают люди. В свое время даже поговаривали, что изредка, вот придет же охота такое повторять, исчезал он со своего места и объявлялся в совершенно другом конце Москвы...

Вы себе представляете, и это такой-то огромный дом!

Правда, все слухи о нем ходили по Москве еще до Великой Революции, в тихой, богобоязненной Москве, где охотнее всего верили в черта. Поэтому существование такого нелепого дома не могло не вызывать страха в смятенных умах московских обывателей, томившихся в пыльных застенках замоскворецких переулочков и тупиков.

Но уже к семнадцатому году двадцатого столетия дом прочно осел в Стремянном переулке, а когда Бога и заодно уж с ним и нечистую силу официально упразднили большевики, он и вовсе перестал перемещаться.

А может, так и стоял он всегда посреди Стремянного переулка с того самого времени, когда был поставлен пришлым с Онеги человеком для купца Вострокнутова, сказочно разбогатевшего неведомо на чем и ко времени постройки дома почетно богатого.

Дом был поставлен на эти сказочные деньги.

Собой он представлял нечто фантазмагорическое: огромный боярский терем, у которого вместо традиционного крыльца был присобачен фронтон – точная копия с фронтона Большого театра. И стоял тот дом абсолютно независимо посреди матушки Москвы, тогда еще провинциальной, златоглавой и колокольной, родины Третьяковской галереи и Художественного театра, которой до ее советского столичного будущего не хватало ровно трех революций, двух десятилетий и одного метра.

Прошло всего полвека со дня постройки, и в странный дом вселился театр. Однажды, ранним утром в Стремянном переулке объявились люди в рабочих комбинезонах. Старательно обходя невысохшие после недавнего дождя лужи, они несли занавес. В течение получаса извивался он вдоль серых заборов, как китайский карнавальная дракон, потом, путаясь в колоннах у главного входа, медленно вполз в дом.

Парадный вход закрылся навсегда.

Внутри выстроили сцену и небольшой зрительный зал. Остальное пространство первого этажа занял вестибюль с длинными рядами вешалок за дубовым барьером.

Над гардеробом имелась надпись: «Весь мир – театр, а люди в нем: мужчины и женщины – актеры. У. Шекспир». А чуть ниже табличка «Гардеробщик Рабинянц Н. А.»

Внешне же дом не изменился, разве что несколько позже к его торцу пристроили пожарную лестницу, но о ней речь пойдет ниже, в отдельной главе. Поверьте, она того заслуживает.

На фронтоне дома по-прежнему неслись невесть куда упитанные рысаки, которыми все так же правил томный красавец Аполлон. Издали лихой выезд был похож на легендарную тачанку. Под конскими копытами литыми бронзовыми буквами значилось: «ТЕАТР им...» – остальная часть надписи полностью сливалась с грязно-белым фасадом, что полно-

стью лежало на совести диких голубей, издавна оккупировавших крышу вострокнутовского особняка.

Театр же повсюду иначе не называли, как «Театр на Стремянке».

История сего, не совсем обычного театра, как, впрочем, всякая другая театральная история, не смогла бы обойти молчанием личность главного режиссера. Собственно говоря, лишь после того, как он возглавил труппу, о театре заговорили.

Именно он первый, тому было множество свидетелей, произнес: «Театр на Стремянке» – и это имя тут же прижилось, а через какое-то время им же было возведено во славу.

К моменту повествования имя театра и имя главного режиссера неразрывно и все чаще стали мелькать в театральных рецензиях. Поначалу, честно скажем, его имя – Арсентий Пржевальский – вызывало некоторое недоумение у публики, но к нему быстро привыкли. Согласитесь, фамилия редкая. И откуда бы ей вдруг взяться? Но и тут была своя, из ряда вон выходящая, история.

Рассказывали ее повсюду и всегда по-разному.

Одни, например, говорили, что фамилию свою, вернее, псевдоним Арсентий выбрал себе ввиду страстной своей привязанности к лошадям...

В театре, наряду с уроками актерского мастерства обязательной еженедельной полит-информацией и бесконечными репетициями, введена была джигитовка.

Лошади нежно и трепетно ржали возле главного входа, с завистью косясь на своих бронзовых собратьев. Актрисы тайком таскали им сахар. Арсентий запрещал сие, с его точки зрения, безобразие категорически. Несмотря на свою любовь к лошадям, был он суров и требовал от труппы кавалерийской дисциплины.

Актрисы, в силу женской сентиментальности, нарушали запрет. Кормление исподтишка лошадей сахарком было единственное, в чем нарушалась воля главрежа. Мужская половина крепилась и в этом. Актеры лихо вскакивали в седла и, стараясь держаться молодцевато, гарцевали на площади перед театром. Правда, время от времени то один, то другой тыкался актерским носом в пушистую лошадиную холку, а то и вовсе покидал седло, отнюдь не самостоятельно.

Лошади улыбались. Арсентий свирепел. Мания его не только не ослабевала, но со временем и прогрессировала. Все дело было в том, что Пржевальский терпеть не мог автомобилей. Казалось, будь его воля, он уничтожил бы их все разом. Посреди репетиции он вдруг ни с того ни с сего начинал говорить о лошадях. Говорил долго и нежно. А к концу речи обычно срывался на крик.

– Как вы ходите?! – кричал он актерам. – Черт знает что такое у вас, а не походка! – после чего немедленно приказывал привести лошадь.

Каждый раз приводили одну и ту же. Это была любимая лошадь Пржевальского. Конечно, если приглядеться, сразу становилось ясно, что на самом деле приведенная – жеребец. Знаток бы даже сразу определил и породу. «Орловский рысак!» – сказал бы знаток, а потом непременно добавил бы: «Прелесть!»

– Прелесть! – в свою очередь восторгался Пржевальский. – Как ходит, как ходит... Какая грация! Актеры чертовы! Учитесь! – и, обращаясь уже непосредственно к женской половине труппы, рычал: – Коровы, кто же так ходит? Учитесь у лошадей!

И начиналась учеба. В течение довольно долгого времени прелестного жеребца водили по сцене, в затылок друг другу за ним следовали актеры, стараясь ступать так же грациозно.

Жеребец на первых порах довольно охотно совершал прогулки от кулисы к кулисе. Его, очевидно, подхлестывало сознание собственного значения для отечественного искусства, и он поначалу, гордо раздувая ноздри, даже радостно ржал. Но вскоре и ему ежедневное бессмысленное хождение по кругу надоело.

Однако то, что могло надоест пускай даже умному животному и кучке не понимающих своей пользы недоумков, считающих себя поголовно гениями, неукротимый Арсентий по-прежнему ставил на вершину пирамиды актерского мастерства.

И учеба продолжалась!

Но мало того.

Орловский рысак по кличке Терек возил Пржевальского в театр. Вот до чего дошла его любовь к Лошади.

Арсентия многие знали в лицо, так как до своего блестящего дебюта в режиссуре был он довольно известным актером. Ездить на рысаке по улицам Москвы он, как вы сами понимаете, считал неудобным, способным вызвать нездоровый ажиотаж, а посему возили его в театр в крытом фургоне, где он гордо восседал на своем прелестном Тереке.

Неизбежно рано или поздно Терек был обречен получить кличку – Лошадь Пржевальского. Актеры люди догадливые, и не прошло и полугода, как так и случилось. И гордый орловский рысак превратился Лошадь Пржевальского, хотя ничего общего не имел с уродливыми лошадами этой низкорослой киргизской породы.

Так рассказывали одни.

Другие, немедленно объявив, что первые лгут, тут же предлагали свою версию происхождения столь редкой фамилии.

«Досталась ему она по наследству от отца, – рассказывали они, – который, будучи еще совсем молодым джигитом, спас великого путешественника, когда тот тонул в озере Иссык-Куль, После чего они стали побратимами и, согласно обычаю, обменялись фамилиями».

Так говорили другие.

Третьи, не мудрствуя лукаво, просто объявляли Арсентия незаконнорожденным сыном Пржевальского. В чем не следует усматривать ничего удивительного, ибо кого только тому в незаконнорожденные сыновья ни приписывали. Однако в данном случае, уж хотя бы в силу возраста главрежа, сего точно быть не могло.

Четвертые – и вовсе завистники – шептали, что настоящая фамилия Арсентия звучала непристойно.

Пржевальский ничего не отрицал. Не до того было. Он ставил Шекспира.

Второй сезон с неослабевающим успехом в театре шел «Гамлет». Три раза в неделю в битком набитый маленький зал во все двери врывалось с десятков всадников. Бряцающая доспехами, они джигитовали в проходах и оглушительно палили в воздух из различного вида стрелкового оружия.

Зрители, сидящие в крайних креслах, в страхе отодвигались подальше от прохода. Прямо у них над головами мелькали оскаленные лошадиные морды, и клочья пены летели на выходных костюмы и вечерние платья. Те, кому посчастливилось сидеть ближе к центру, оглушительно хлопали. Так под грохот выстрелов и аплодисментов, сквозь которые робко пробивалась бравадная маршевая музыка, приезжал на Терек Гамлет.

Поверьте, его приезд был очень красивым зрелищем. Когда дым от выстрелов немного рассеивался и хоть что-то можно было наконец увидеть, зал взрывался мощной овацией.

Зрелище после премьеры продолжалось примерно месяца три.

Ровно год тому назад, помнится, в пятницу тринадцатого числа, между прочим, ровно в полдень страшный крик потряс театр. Он был до того душераздирающ и пронзителен, что маленькое помещение театра и соболезнающие актерские души не смогли в полной мере вместить его в себе.

И крик «Мышкин упал!», преисполненный боли и отчаяния, колом выкатился на улицу. В Стремянном переулке, как всегда в полуденный час, было пусто, а посему некому было его услышать. И крик сник, скукожился и вернулся назад в театр, где повис под лепным

потолком в центре зала возле массивной, бронза с хрусталем, люстры. Там провисел он еще какое-то время, пока окончательно не улеглись страсти, после чего по гулким коридорам переместился в район директорского кабинета. И уже в более или менее пристойном виде проник вовнутрь, где история его появления была рассказана наконец во всех подробностях.

От повседневных репетиций на сцене Терек окончательно зазнался и уже не желал выносить на себе никакой другой тяжести, кроме самого Арсентия. А в тот день, кроме всего, ему, в буквальном смысле слова, вожжа попала под хвост. Мышкин, вообразив себя изрядным кавалеристом, принялся седлать Терека собственноручно. Потом имел неосторожность еще и сесть на него... «Лошадь Пржевальского» вспомнил о своей гордой породе и тряхнул стариной.

Вследствие чего Мышкин упал!

Поднимали его всем театром. Даже гардеробщик впервые за долгие годы своей беспорочной службы покинул в рабочее время вверенные ему вешалки. Но с них, к счастью, ничего не украли. Так что Никита Абрамович Рабинянц в тот раз отделался легким испугом.

А вот Мышкин – упал!

Такие вот дела творились год назад, а именно, в пятницу тринадцатого в помещении «Театра на Стремянке». С тех пор вслед за лихими гарцующими и стреляющими в воздух всадниками въезжала запряженная смирной белой кобылой тачанка, в которой, задумчиво опершись на пулемет, сидел Мышкин – Гамлет.

А в тот день, год назад, спектакля не было. Отменили спектакль начисто. Ввиду болезни актера. Лошадь Пржевальского раз и навсегда отказался возить на себе Ивана Борисовича.

Мышкин не возражал. Он играл Гамлета.

Арсентий не любил кино. Страстно, до самозабвения. Пожалуй, даже больше, чем автомобили. Но следует открыть страшную тайну: он завидовал. Так же страстно и самозабвенно. Хотя в своих беседах о кино иначе, как халтурой, он его не называл. А еще «штучками» он его называл. Но в душе – завидовал... «Гамлет» на киноленте для его самолюбия стал незаживающей язвой. Стоило упомянуть при нем о недавно вышедшем фильме, как он тут же начинал негодовать и скорбеть! Он негодовал за Шекспира и скорбел над ним же.

– «Быть или не быть? Вот в чем вопрос...» – Арсентий принимал соответствующую позу. – Почти весь монолог спиной к зрителю. Он, изволите ли видеть, по лестнице поднимается. Да плевать мне на их киноштучки-дрючки! Мне лицо важно видеть, глаза!.. Где истинное страдание? В спине?!

Все безоговорочно соглашались с ним. Но Арсентий еще долго не мог успокоиться.

– «Умереть, уснуть... Уснуть и видеть сны, быть может?» – с выражением цитировал он великого англичанина, хотя в фильме весь монолог произносится совсем в другом переводе. – И всё спиной, на лестнице! Уму не постижимо! На лестнице, на лестнице... – все чаще повторял он и задумывался.

И надо признаться, что идея с лестницей с каждым днем все сильнее западала ему в душу. Так что к моменту премьеры Гамлет известнейший монолог, который всегда с особенным нетерпением ожидает зал, читал, медленно поднимаясь по лестнице. Лестница была веревочная и заканчивалась она на той самой бронзово-хрустальной люстре в центре зала, о которой уже говорилось выше.

– Публика должна участвовать в спектакле! – любил повторять Пржевальский. – Зрителей необходимо окунуть в самую гущу событий. Зал – Эльсинор! Фойе – крепостные стены, гардероб – сторожевая башня!.. Мой учитель говорил: «Театр начинается с вешалки!»...

Никита Абрамович Рабинянц отныне в дни «Гамлета» сидел в сторожевой башне, над которой по-прежнему висело шекспировское изречение по поводу мира и театра, и рыцарские латы ничуть не нарушали его философического покоя. Он привык принимать одежду

и выдавать номерки, выдавать бинокли и принимать двугривенные, а что было в тот момент надето на нем самом – не играло в его жизни абсолютно никакой роли.

Зал находился в самом центре событий. Сцена была забыта. Играли на ней неохотно, все время норовили вернуться назад в зал. Там актеры чувствовали себя, как в метро, среди своих.

Гамлет, как сомнамбула, брел по проходу: покачиваясь, скрестив руки на груди. Вслед за ним, как будто магнитом притянутые, поворачивались лица зрителей, их взгляды скрещивались на нем подобно прожекторам противовоздушной обороны на вражеском бомбардировщике.

Гамлет-Мышкин притягивал их к себе и вел за собой вверх по веревочным ступеням. И когда уже на изрядной высоте он срывающимся голосом произносил: «Заносчивость властей и оскорбленья, чинимые безропотной заслуге, когда б он сам мог дать себе расчет простым кинжалом?» – публика на неимоверной этой паузе расчищала место под ним, опасаясь быть придавленной мускулистым телом Датского Принца...

Иван Борисович гордился достигнутым эффектом. Во время его монолога публика по мере сил принимала участие в спектакле. Конец монолога: «Офелия, в твоих молитвах, нимфа, да вспомнятся мои грехи...» – он произносил уже с люстры.

Билеты на «Гамлета» была раскуплены до конца сезона

### Глава 3. Первый звонок

Ко времени, когда начались все описываемые далее события, уже многие стали замечать и в самом театре да и вокруг него некоторые загадочные странности. И не то чтобы какие-то необычные случаи, ибо таковые и раньше происходили почти ежедневно, но так, что-то неясное в атмосфере, нечто инородное в привычной среде, как вирус, поднимающий температуру организма.

Что это было?

Вряд ли кто-нибудь сейчас может ответить...

Вне видимых причин проистекали социальные взрывы, колеблющиеся по силе от одиночного голодания до массового мистицизма. Они сметали все на своем пути, увлекая поголовно всю труппу в самые невероятные, состоящие в прямом противоречии друг с другом идеи и верования.

Слухи один неожиданнее другого разносились по городу, выводя из равновесия на весь рабочий день служащих государственных учреждений разной степени важности, мясников и парикмахеров, таксистов и продавщиц парфюмерных магазинов, а также сохранившихся еще кое-где домашних хозяек.

И в тот же день, не успев быть проверенными, на всех видах междугороднего транспорта они растекались во все концы нашей необъятной родины.

Страна в то знаменательное время готовилась к Великому Юбилею: перевыполняла пятилетний план, вставала на предпраздничные вахты, сэкономила сырье и электроэнергию, вела битву за урожай – и слухи, доходившие во все ее концы, настолько распалили воображение аборигенов, что и грядущий Юбилей кое-кем из самых рьяных начинал ставиться под сомнение.

Так ли он, дескать, велик, как об этом твердят нам без малого вот уже пятьдесят лет?!

По ночам сомневающиеся включали радиоприемники и, меж эфирных скрипов и свистов вылавливая различные чуждые нам голоса, искали подтверждение очередному дошедшему из центра вздорному слуху, правдоподобие которого было обратно пропорционально квадрату расстояния от Москвы. Искали и, конечно же, находили.

А между тем кое-что было правдой!

И правдой настолько неожиданной, что некоторых особенно беспокойных поборников ее уже некоторое, довольно продолжительное время держали изолированно от общества, для которого они так рьяно норовили стать Мессией. Что уже неоднократно через центральную прессу одобряли как трудящиеся столицы, так и остальных регионов страны.

Пресса вообще в то время стала необычайно активна. Еженедельно она полным составом своих редакций вступала в борьбу с очередным психозом, еще более накаляя атмосферу страха выступлениями докторов различных наук. Оторванные от своих пробирок и синхрофазотронов, озверевшие доктора опровергали все происходящее с таким остервенением, что невольно крепла окончательная уверенность в реальности самых невероятных событий.

А события между тем не заставляли себя ждать...

Они происходили своим чередом, будоража воображение всего коллектива «Театра на Стремянке» до такой степени, что ведущие театральные критики начали отмечать признаки гениальности даже у ранее весьма посредственных актеров.

К этому времени театр уже достиг апогея своей славы, и каждый причастный к нему, естественно, старался отличиться, то есть завести себе некую экстравагантную черту, по которой не было бы уже никакой возможности, не дай Бог, спутать его с кем-нибудь другим.

Арсентий, как я говорил ранее, ездил в театр на лошади. Мышкин, хотя и ходил пешком, в последнее время он жил за углом от театра, но при ходьбе опирался на толстую суко-

ватую палку, которую не так давно подобрал в подмосковном лесу и, покрыв лаком, пустил в дело. И надо же, ее буквально через неделю знала вся культурная Москва. Поклонницы специально приходили в гардероб ВТО полюбоваться ею, пока Иван Борисович обедал в ресторане.

Один весьма известный кинорежиссер утверждал, что заведующая литературной частью театра, Наталья Игнатьевна Врубель, пьесы читает исключительно вверх ногами. Но он-то мог и приврать ввиду восторженного состояния организма в момент своего рассказа, который, помнится, случился в ресторане Дома кино в первом часу ночи. А потому фамилию кинорежиссера я не назову.

Но вернемся к актерам. Игорь Черносвинский играл на гитаре. При всяком удобном случае он зарифмовывал мысли, пришедшие только что ему в голову, и, подобрав к ним какой-нибудь мотивчик, пел. Желательно в присутствии публики. Что в последнее время случалось все чаще и чаще.

Это было бы еще довольно мило, но от неумеренного потребления своего, внезапно объявившегося таланта он постоянно срывал голос и хрипел как на сцене, так и на тысячах километров магнитной пленки с записями, которые к моменту повествования уже пошли гулять по Москве. Но, как ни странно, к его хрипу быстро привыкли. А в те редкие дни, когда Игорь почему-то не хрипел, считали, что он «не в голосе».

А Люля Черносвинская занималась спиритизмом.

Одним словом, нехорошо было в театре...

И вот тринадцатого, опять же в пятницу, но на сей раз уже в следующем году на очередном спектакле «Гамлета», когда время подходило к девяти вечера, возле Игоря Черносвинского, стоявшего в левой кулисе, возник человек. Игорь уже без грима, но в костюме Полония, неодобрительно наблюдал сцену сумасшествия собственной жены. Нечто подобное она закатила ему сегодня утром; при одном воспоминании о скандальных подробностях утренней сцены Черносвинскому становилось гадостно во всем организме. Хотелось выйти на сцену и доорать все то, что не удалось выплеснуть ей в лицо в момент ссоры.

– Какая бездарность!.. – сжав зубы, думал он. – Вот бы...

– А вы выйдите! – вдруг услышал он у себя ухом вкрадчивый голос.

– Ах, если бы... – мечтательно прошептал Игорь, в первое мгновение не осознав, к кому он, собственно говоря, обращается. А когда опомнился, то начал было: «А с кем, позвольте узнать...» – и замолк, поскольку было уже поздно.

Незнакомец, не показав лица и проигнорировав недосказанный вопрос, направился к двери с табличкой «Запасной выход», которая на памяти Черносвинского ни разу не отпиралась, и бесследно исчез за ней.

Первой в мозгу у Игоря созрела почему-то казенная мысль: нужно было проверить у него документы. В ушах зазвучала ехидная вохровская формулировочка: «А где ваш пропуск, гражданин?! Без пропуска не разрешается!» Но тут же он сообразил, что поздно: и незнакомец уже далеко, а посему никаких документов он никому не предъявит, да и дверь закрыта наглухо. Мало того, Игорь почему-то был твердо убежден, что и открыть ему ее не удастся...

В непонятном томлении он оглянулся на сцену и застыл в недоумении. И, надо сказать, было от чего. А увидел он следующее: Лешка Медников, играющий Лаэрта, взгромоздившись верхом на поверженного на пол Мышкина, возил Ивана Борисовича носом по нечистым доскам сцены.

«Сестру соблазнил, мерзавец! – каким-то особенно счастливым голосом орал при этом Лешка. – Зарежу, как щенка, как падаль, змеиное отродье крокодила!» – и еще какую-то чудовищную отсебятину нес он, совершая свои хулиганские действия.

Короче, ситуация складывалась мерзопакостная. Лешка прихватил Ивана Борисовича основательно и поскольку, по слухам, у него были на то веские причины, бил всерьез.

В общем, скандал.

Не успев осмыслить происходящее, Игорь выскочил из-за кулис, как потом объяснял во время разбирательства: в поисках жены, которой там к тому времени быть уже не могло и в помине. Но, будучи уже на сцене вдруг почему-то вспомнил, что Лаэрт-Лешка вот уже две недели должен ему трояк, одолженный всего-то на день, стал у него тот злосчастный трояк вымогать немедленно с частым употреблением бранных слов.

Потом он признавался также, что в те необъяснимые мгновения сам с ужасом понимал всю абсурдность происходящего. Но наглый вид Лешки, гордо восседавшего на абсолютно беспомощном и, по-видимому, смирившемся с происходящей экзекуцией Иване Борисовиче, внезапно привел его в такой боевой экстаз, что он с криком: «Ах, ты, значит, вот так?! На же и тебе, культсектор!» – со всего размаха врезал Медникову по уху.

И все...

Что еще более странно, мелко-хулиганским поступком самого Игоря инцидент и завершился. Оплеуха как бы поставила последнюю точку. Скандал иссяк, как будто и не было его вовсе. Черносвинский, сопровождаемый бормотанием Мышкина: «... как сорок тысяч братьев любить не могут...» – бочком, бочком убрался со сцены. И спектакль тут же вернулся в свою наезженную колею и уже без эксцессов неумолимо покатился концу.

Но ведь было же что-то!

И необходимо было произошедшее как-то объяснить. Потому что, не объяснив, как же жить дальше, граждане? А?!

И объяснили... Нашлись люди... Один из Новосибирска, например, интеллектuala из «почтового ящика», реагировал почти мгновенно.

«Гениально! – возбужденным шепотом на весь зал пророкотал интеллектuala, когда Полонии с блуждающим взглядом и без бороды только еще появился на сцене. – Ара (Арсентий) есть Ара... Надо же, Тень отца Офелии...» – и засекреченный юноша замер, восхищенный собственной догадливостью.

Молодец, интеллектuala. Такое бы, пожалуй, не то что Пржевальскому, а самому Мейерхольду в голову не взбрело.

## Глава 4. Племянник

*Все мы вышли из «Шинели» Гоголя...*  
**Ф.М. Достоевский**

Я пою во весь голос, пою, широко раскрыв рот, срывая голосовые связки. Пою всем сердцем и легкими – пою гимн новостройкам. Пою крупноблочным и многоэтажным, с лифтами и мусоропроводами, кооперативным и государственным, с центральным отоплением, с отдельными и совмещенными санузлами.

Я утираю слезы, наворачившиеся на глаза от напряжения, и продолжаю петь дальше. Мой гимн юго-западным массивам страны ширится и растет; и вот уже не хватает легких и сердца, и я пою желудком и печени, с ужасом чувствуя, как неотвратно близится то мгновение, когда, не утерпев, вырвется на волю могучий голос двенадцатиперстной кишки.

Я уже спел про то, что дома растут, как грибы после дождя, а также здравицу всем удобствам и солнечным сторонам жизни в этих домах: шкафам, скрытым в стенах, паркетным полам, лоджиям и железобетонным балконам.

Мой гимн давно сорвался на единый возглас «Да здравствует!»

Вот уже остались одни восклицательные знаки; и я обессилено опускаюсь в кресло в своей квадратной комнатке в до предела перенаселенной коммунальной квартире.

Я перевожу дух и начинаю кантату о счастливых обладателях отдельных квартир в новых домах, кантату, переполненную черной завистью и коварной злобой. Мою комнату заволакивает ядовитый дым человеконенавистничества. Когда же он наконец медленно оседает, перед моими заплаканными глазами предстает квартира: трехкомнатная, со всеми удобствами, с солнечной стороной, с окнами на реку, лоджией, балконом, отдельным санузлом и огромной кухней.

И в бешеной своей злобе и ненависти к себе подобным я силой своего воображения поселяю в нее странного маленького человечка в старомодных круглых очках, после чего насылаю на него все мыслимые в природе несчастья, в глубине души чувствуя, что дальнейшие события заставят меня тяжело пожалеть об этом, но в данный момент ничего с собой поделать не могу.

Имя человечка в выпуклых очках – Акакий Акакиевич Башмачкин. И он, Акакий Акакиевич, как выяснилось позже, был потомком литературного героя...

Жизнь все время загоняла его в угол, И это, как правило, был очень скверный угол. Такими обычно бывают углы в старых, запущенных домах: затхлые, занавешенные паутиной и сырые, а под ногами обязательно – крысиная нора. Так что и днем и ночью подошвами ощущаешь чужую мерзкую, суетливую жизнь. Он терпел и горбился, щурил глаза за толстыми линзами и начинал отыскивать светлые стороны своего существования. И, что странно, находил...

А жизнь гнала его все дальше, пока не загнала узкую, как гроб, комнату, на скрипучую панцирную кровать, возле которой стояли часы. Чудо-часы – выше человеческого роста, с боем и музыкой, в полированном, красного дерева футляре. Они считали и мерили его жизнь, пока не сосчитали и не измерили ее почти всю. Но еще оставалось впереди кое-что; и часы играли и били, их мелодичный бой был радостью, как разговор с милым сердцу другом, как откровение...

Однажды к нему пришли.

Они сразу заполнили собой восемь квадратных метров его жилой площади, и два венских стула, жалобно скрипнув, прогнулись под объемистыми задами посетителей. Хозяин

стоял перед ними навтыяжку, впервые ощущая, что в его убежище не хватает воздуха. Он почувствовал – так же остро – свой возраст и свое одиночество.

Что-то было такое во взглядах пришедших, что Башмачкин понял – погиб, пощады не будет – и вытянулся еще больше, весь обратясь в слух. Но посетители в свою очередь выжидающе улыбались и молчали. Тогда он не выдержал и начал первым.

– Чем, собственно, обязан? – петушиным голосом поинтересовался Акакий Акакиевич. – Визитом, так сказать...

– Со временем... – веско произнес посетитель, тяжелым взглядом обшаривая стены. Его спутница, не переставая улыбаться, промолчала.

И тут пробили часы и заиграли старинную музыку, и ночь ворвалась в окно вместе с двенадцатым ударом.

– Поздно, однако... – укоризненно произнес посетитель.

– Да, двенадцать ровно... – заискивающе поддакнул Башмачкин, чувствуя за собою вину за то, что пришедшие вынуждены были беспокоиться из-за него в столь поздний час.

– Что ж, перейдем к делу, пожалуй! – значительно промолвил посетитель.

А спутница закивала, как дешевенький китайский болванчик.

– Да, да, к делу! – радостно засуетился Акакий Акакиевич, абсолютно не представляя себе сути того дела, которым ему предстоит заниматься с непрошеными гостями. – Я к вашим услугам... – он замешкался в определении их статуса, – м-м... граждане...

Граждане заулыбались еще интенсивнее...

– Здравствуйте, дядя! – вдруг неестественно-радостным голосом выкрикнул мужчина и засуетился на стуле, протягивая к Башмачкину короткие пухлые руки.

Женщина тоже задвигалась и протянула руки. Стулья угрожающе заскрипели. Обстановка становилась невыносимой.

Башмачкин почувствовал подступающую дурноту и боль в медленно качающемся сердце. Неменяющей левой рукой он потянулся к стакану с водой, но не достал до него. Ноги у него обмякли, и он прислонился к полированному боку часов, уткнувшись лбом в озерную прохладу травленого стекла. И тут у него перед глазами возникло зеркальное отражение посетителей, втиснутое в нереально выгнутые рамки его убогой квартиры.

Боже, что это было за жуткое зрелище!

Они оба смотрели на него с вожделением и с каким-то умильным сладострастным восторгом. Она даже сглатывала слюну и облизывалась.

– Что это? – в отчаянии подумал Башмачкин, и сердце его в последний раз стукнуло и ушло.

Очнулся Акакий Акакиевич на своей железной кровати, втиснутый в ее панцирное чрево и спеленатый колючим верблюжьим одеялом до самого подбородка. Повернув голову, он увидел возле своего изголовья женщину-врача из «неотложки». А напротив у тумбочки молодой фельдшер укладывал в саквояж ненужные уже шприцы. Посетителей в комнате не было, но, судя по голосам, доносящимся из коммунального коридора, никуда они не ушли.

Они все еще были рядом, эти страшные посетители; и Башмачкин попробовал как можно глубже вжаться в сетку кровати.

– Ну, вот и очнулись... – устало произнесла женщина-врач.

Акакий Акакиевич, хорошо знакомый с порядкам на «скорой», заплетающимся языком поспешил назвать свою фамилию и имя-отчество.

– Лежите, лежите! – остановила его женщина-врач. – Ваш племянник уже все нам сообщил...

– И возраст? – прохрипел Башмачкин.

Женщина, глянув в карточку, подтвердила:

– И возраст. Одна тысяча девятьсот первый. Правильно?

Башмачкин кивнул.

Знание незнакомцем его года рождения почему-то особенно поразило Акакия Акакиевича.

– У дяди легкий обморок, – гудел между тем за дверью уверенный жирный голос, – от радости такое бывает...

– Бывает, – кивнула Башмачкину женщина-врач, – и даже очень часто, хотя от горя все же чаще. Теперь уже с вами все в порядке. Мы вам сделали укол, но завтра придется полежать... Пойдемте, Толик... – позвала она фельдшера и уже в дверях неизвестно кому сказала:

– Ну вот, все и кончилось...

Но все только начиналось, Господи!

Вот так-то, граждане, господа хорошие, не перевелись еще самозванцы на Руси...

И посудите сами, откуда взяться родственникам у потомка литературного героя? А уж тем более – племяннику?

Однако взялся...

Сие установленный факт. Вместе с женой Рахилью взялся. История, прямо скажем, библейская.

И не успел оклемавшийся Акакий Акакиевич глазом моргнуть, как племянника пропи-сали на его жилплощадь. С женой, естественно. А потом, правда, на этот раз Акакий Акакиевич моргнуть успел и не единожды, вселился он с беспощадными родственниками в трехкомнатный кооператив на набережной. Угол Стремянного переуллка, между прочим...

Улавливаете?

Восемь квадратных метров, конечно, пришлось сдать государству, у которого их тут же выцыганила под справку о беременности несовершеннолетняя соседская дочка, а ей, как будущей матери-одиночке, положено.

А Башмачкин вместе с часами и панцирной кроватью оказался в самой маленькой комнате трехкомнатной кооперативной квартиры. И сидел он в ней тихонько, как мышка, а покидал ее лишь изредка, да и то только по ночам. Так что довольно долго никто из соседей даже не подозревал о его существовании...

А дальше и вовсе чудеса пошли.

Пожил, пожил его якобы племянник в Москве, в отдельной трехкомнатной кооперативной квартире, в ванне покупался, унитаз финский дивный в цветочек в туалет поставил, а в ванную комнату для супруги, само собой, «биде», чтоб все, как у людей, а потом в один прекрасный день поднялся и уехал. И не просто уехал: в командировку или, скажем, на курорт в Гагры, что было бы в порядке вещей, а то ведь насовсем уехал, то есть, как говорят, с концами. И что важно, жену с собой увез.

Куда, вы спросите?

А куда тогда все ехали...

Вот и они туда же. А квартира осталась за Башмачкиным. Вместе с «биде» и музыкальными часами. И звонили они, и играли, но теперь уж по-новому. У них нынче простор появился. Семьдесят восемь метров одной полезной площади, не считая холла, кухни и удобств, которых втрое больше, чем требуется одинокому неприкаянному старику...

Ну, скажите, не чудо? А?

Только Башмачкин и чудес тоже боялся. До озноба. Боялся день, боялся два, а там, глядишь, и привык. И даже озноб прошел. Куда тут денешься от своего негаданного везения. Вот же она, вся здесь: с солнечной стороной, с лоджией, с мусоропроводом. Хотя, с другой стороны, какой от него мусор, скажите на милость?

И впервые в жизни Башмачкин прикоснулся к счастью, к простому человеческому материальному счастью, заключающемуся во всей благоустроенности быта, в полном покое

и радости бытия, проистекающих от тишины и домовитого устройства семейного гнезда, давным-давно утраченного Акакием Акакиевичем. Он почувствовал себя ребенком, забытым в чужой, но милой сердцу квартире, где столько разных веселых игрушек и красивых вещей, которые полностью оставлены в его распоряжении.

Счастье продолжалось месяц: ходил Башмачки квартире, из комнаты в комнату гулял, как на бульваре, дышал с балкона воздухом Москвы-реки, на солнышке грелся часами, а потом мылся в ванне, как некогда, бывало, самозванец-племянник, – с шампунями и хвойным экстрактом до полного благоухания и эпикурейской разнеженности. И мысли его всякие одолевать начали: упаднические, древнеримские... Хорошо ему было, если сказать по правде, быть дядей уехавшего племянника. Ох, хорошо...

Вот только с «биде» не знал, что делать. Очень уж смущал его бесстыдно распахнутый зев в цветочек. И за кооператив платить нужно. Ежемесячно. Между прочим, деньги. Семьдесят шесть рублей пятьдесят копеек, новыми...

А у Башмачкина, однако, была пенсия: пятьдесят один рубль, тоже новыми... Хватало, одним словом... Раньше, естественно... Где брал приبلудный племянник искомые семьдесят шесть рублей пятьдесят копеек – не выяснено. Только платил он их и аккуратно, надо отдать ему должное, платил.

Племянник, племянник... Только где он, племянник? Его нынче голыми руками не достанешь. Ни за какие деньги.

А между тем платить за кооператив все-таки надо!

Но ведь люди кругом не только сволочи, встречаются и умные – научили. И взял Акакий Акакиевич к себе квартирантов. Им удобно было, служба рядом, бок о бок, в театре, что к дому примыкал вплотную.

Ясно?

Ну вот, с их переселения к нему в квартиру и началось...

## Глава 5. Странное утро

Харонский встал с левой ноги. Произошла эта неприятность потому, что спал он на животе; и сны ему снились липкие и гадостные. Снился ему, к примеру, Зюня Ротвейлер весь в крови и будто выступает тот, не утираясь, причем, что самое мерзкое, на месткоме выступает и такое предаёт всеобщей гласности, что Харонский даже во сне понимает, – недаром ему эта кровь, которая продолжает течь, пущена. Ох, недаром...

И хочется Харонскому прямо в лицо подлецу Зюне крикнуть, мол, какое кому дело до чужой личной жизни, до святых, так сказать, таинств любви, – он уже и рот раскрыл на ширину, достаточную для учинения скандала, а только крик из него не выходит...

А вот еще один сон, приснившийся уже под утро: будто ест он в театральной столовой комплексный обед из трех блюд со сладкой слоеной булочкой к компоту – один рубль и семь копеек за весь обед. Так вот, ест он его, ест; с рассольником управился, за макароны по-флотски взялся, а они сами по себе шевелятся на тарелке и, что самое подлое, каким-то немислимым образом подмигивают. А «книгу жалоб» ему не дают: ни по первому требованию, ни по какому, то есть не дают напрочь. Категорически!

И, наконец, совсем несусветное, – что в театре упала пожарная лестница; и едут, едут на черных «Волгах» комиссии из министерств и ведомств, и кто-то из особенно ответственных товарищей тихо, но достаточно внятно уже спросил будто бы: «Кто?»

Есть от чего проснуться в липком поту, а потом сдуру еще и встать на левую ногу.

Харонский машинально проделал над собой весь курс экзекуций, который принято называть утренним туалетом, и поспешил в театр. Лестница, слава Богу, была на месте, но легче от сего факта Харонскому не стало. Наоборот, только теперь он осознал все легкомыслие своего давнишнего поступка; и липкий ночной пот брызнул из его измученного тела, как сок из лимона...

Вот ведь привяжется поутру слово или же, скажем, фраза, и талдычишь ее, не в силах отвязаться, целый день. Так и Харонский, как заезженная пластинка, повторял про себя: «Сон в руку, сон в руку...»

И как накаркал.

У главного входа маячил взволнованный Мышкин. Он маялся между колоннами, как пес, потерявший хозяина, и, ежеминутно хватаясь за голову, затравленно косил затекшим глазом в сторону Стремянного переуллка. Завидев Харонского, Иван Борисович встрепнулся.

– Сема! – страдальческим голосом окликнул он его. Харонский вздрогнул и застыл на месте.

– Что? – с трудом выдавил он из себя.

Дальнейшие действия Мышкина живо напомнили Харонскому бездарные кино-детективы, которые в последнее время все чаще стали появляться на отечественных экранах.

– Сюда! Быстро! – Иван Борисович рванул его за руку и, прижав плечом к пузатому боку колонны, воровато выглянул из-за нее. – Тихо! – нервно прошипел он.

– В чем д-дело, В-ваня? – взмолился Харонский. – Д-дышать же н-нечем...

– Ты ничего не заметил? – не слушая его, шепотом спросил Мышкин. – За тобой никто не шел?

– А? Ч-что? – пугаясь не на шутку, воскликнул Харонский. – З-зачем к-кому-то за мной х-х-ходить?

– О! – воздев руки, взвыл Мышкин. – Этот человек на все способен! Я это тебе как председателю месткома заявляю официально. Я тебя спрашиваю, куда смотрит общественность? – и он потряс перед самым носом Харонского крепко сжатым кулаком.

Общественность в лице Семы Харонского в ужасе смотрела на кулак Мышкина и мучительно соображала: каким образом ей удрать отсюда. Но Иван Борисович, как будто прочитав его мысли, тут же крепко ухватил его за локоть.

– Сема! – Мышкин припал к скрипучему борту кожаного пиджака Харонского. – Родной! Одна надежда на тебя! Если не ты, то кто? Ты-то меня просто обязан понять... Все мы бессильны перед этим... Но, в конце концов, мы же цивилизованные люди! И главное, что недопустимо, – публично!.. – он притянул большое ухо Харонского поближе к своим губам. – Пьяное хулиганство в нетрезвом виде. Да, да, именно в нетрезвом, что я тебе ответственно заявляю, как пострадавший. Он же на меня, подлец, все время дышал... А? Как тебе такое понравится? Видишь ли, Семочка, это такая сволочь, он же до смерти убить меня мог! Ему и иже с ним, то есть ему подобным убить – раз плюнуть! Ты понимаешь?!

– Н-не п-понимаю! – честно сознался Харонский. – Я, В-ваня, ей-Б-богу н-ни черта н-не понимаю. У-утро к-какое-то с-странное... С-сны вижу. К ч-чему бы это? У м-меня ж-же д-давление. Х-хочешь, к-кардиограмму покажу? – Харонский поспешно полез в боковой карман пиджака и действительно вынул оттуда сложение во много раз полоску миллиметровки. – С-смотри! В-вот и в-вот... – он ткнул пальцем в те места на полоске, где самописцы разгулялись вовсю.

– Ужас! – даже не взглянув на полоску, согласил Мышкин. – Вся наша жизнь – сплошной кошмар! Что меня просто убивает, Семочка, так это бессмысленность нашего существования. Суедемся, переживаем, грызем друг друга... Каждая мелочь нам кажется важной, чуть ли главным в жизни. А все напрасно, Семочка! Понимаешь? – он издал губами неприличный звук. – Чушь, чепуха, всяческая ерунда и томление духа... – Иван Борисович с философическим видом помолчал и изрек реплику, обычно приберегаемую им под занавес: – Ибо человек, родившись, делает свой первый шаг к смерти!..

Харонский вздохнул то ли сочувственно, то ли обреченно.

– В-ваня! – заикнулся он. – Если т-ты н-насчет п-путевки, то я п-полностью «за»... Извини, м-меня Ара ж-ждет!

Впервые про первый шаг к смерти Харонский услышал от Ивана Борисовича много лет тому назад и с тех пор слышал про него регулярно. Со временем он пришел к выводу, что такая, на первый взгляд оригинальная мысль, обычно безотказно действующая на женщин, особенно в исполнении Ивана Борисовича, при многократном повторении вызывает острую ненависть к изрекающему ее.

«Бедная Лиза! – подумал Харонский. – Целых десять лет терпеть такое...»

Щекотливость затянувшегося положения между ним и Мышкиным, следует пояснить читателям отдельно. Заключалась же она в следующем: первая жена Ивана Борисовича, Лизочка Веткина, два года тому назад ушла к Семе Харонскому. На категорическое требование Мышкина – немедленно вернуться по месту прописки, она ответила не менее категорическим отказом.

Ее отчаянный и еще более внезапный поступок был полной неожиданностью для всех и в первую очередь для самого Семы Харонского. Никаких адюльтерных поползновений в направлении жены Ивана Борисовича он никогда себе не позволял.

И не потому, что она ему не нравилась. Отнюдь! В Лизочку Веткину невозможно было не влюбиться. Сема и был в нее влюблен. Но мечтать о том, чтобы она сама... Нет, нет, подобные мечты, полагал он, для человека с его внешностью и темпераментом были бы просто наивной глупостью. А сам Сема и все, кто его хорошо знал, считали его человеком трезвым, реалистическим, а, кроме того, давно вышедшим из возраста романтических мечтаний.

Однако клады, как уже было сказано выше, чаще всего находят не те, кто ищет...

Однажды, как точно выразился поэт «...она возникла из ночных огней. Без всякого небесного знаменья. Пальтишко было легкое на ней...»

Правда, следует отметить, что пальто на Лизочке не было никакого, даже легкого. Она ушла от Ивана Борисовича в чем была: в халатике и тапочках на босу ногу – именно так она и возникла на пороге Семиной квартиры. А в глазах у нее, огромных фиалковых озерах, плескались жемчужные слезы.

«Бедная Лиза! – в тех же выражениях, как и сейчас, подумал Харонский. – Целые десять лет терпеть такое...»

Лизочка между тем на пороге не задержалась и, решительно пройдя мимо ошалевшего Харонского в комнаты, произнесла музыкальным голосом: «Семочка, вот я и пришла! У вас ужасно расставлена мебель, но перестановкой мы займемся завтра. А сейчас – спать!..»

С Мышкиным она развелась, но за Сему замуж идти отказалась наотрез, хотя поселилась у него, судя по всему, навсегда. И никакие доводы Харонского в том смысле, что «перед людьми неудобно, д-давай уз-зако-ним, я ж-же п-председатель м-месткома, н-наконец...», не помогли.

Иван же Борисович уход жены воспринял почти как стоик. В философском, так сказать, стиле. Правда, вначале и он, как принято в лучших домах, впал в состояние близкое к умопомешательству: рвал на себе одежду, порывался куда-то бежать, обещал набить соблазнителью Семе его бесстыжую морду и так далее... Но потом довольно быстро угомонился: и одежду свою оставил в покое, и морду никому не набил.

А вместо учинения, так всеми ожидаемого, большого скандала уехал на какие-то халтурные гастроли по Крымско-Кавказской. Отсутствовал он почти месяц, а по возвращении бить кому-либо что-либо было бы уже совсем глупо. Так что в целом лицо Харонского, как в личном, так и в общественном плане, не пострадало.

В сущности, с Мышкиным они даже остались друзьями. Точнее – «родственниками по жене», как определил состояние их взаимоотношений Черносвинский, на что Зюня Ротвейлер съязвил, зараза, что в этом смысле Игорь в родстве с половиной Москвы.

Но, заметьте, Харонский в такую противоестественную дружбу не верил. Каждый раз при встрече с Мышкиным Сема вздрагивал. И даже когда Иван Борисович женился во второй раз, чувство неуверенности не покинуло Харонского. Нет-нет, да и вздрогнет... Так и тянуло при встрече с Мышкиным стукнуть себя кулаком в грудь и, не заикаясь, смело глядя ему в глаза, сказать давно скрупулезно продуманную фразу: «Не виноват я! Она сама пришла!», – но он так и не решился до сих пор произнести ее вслух.

В первую очередь из боязни, что его неправильно поймут.

А между тем сейчас Мышкин все сильнее прижимал Сему к колонне.

– В-в-вот т-теперь уж т-точно м-морду н-набьет, как об-бещал... – тоскливо подумал Харонский.

От страха он даже думал заикаясь.

– Ну что скажешь, Сема? – напирал Иван Борисович. – Что будем делать?

– Н-не в-виноват я! – с трудом выдавил из себя Харонский. – Она сама пришла! – залпом досказал он заветную фразу. И впервые за два года ему стало легко на душе.

А Мышкин неожиданно сильно обрадовался.

– Вот именно! – завопил он. – В том-то и дело, что сама пришла. Не выгонять же женщину! Это же как-то даже не по-джентльменски...

Харонский, по-прежнему ничего не понимая, закивал. На всякий случай.

– Ну вот, и ты со мной согласен! А сей хулиган... – Иван Борисович задохнулся от возмущения и, подыскивая слова, хватал свежий утренний воздух широко открытым ртом. – И главное, – наконец поймал он ускользавшую мысль, – во время спектакля. Такое обращение с коллегой на сцене – это же нарушение трудовой, творческой и, в конце концов, человеческой нормы поведения. Я понимаю, – Мышкин прижал руку к сердцу, – я тебя, как председателя месткома очень хорошо понимаю. Ты просто вынужден, как тебе ни противно, защищать

каждую... не хочется произносить подобного слова... падлу! Но есть же какой-то предел, Сема! Нет, я от тебя не требую невозможного, но меры принять – должно! В конце концов, я вправе поставить вопрос ребром: или я, или он!

Харонский, уже даже не стараясь что-либо понять, беспомощно озирался. Он смирился с происходящим, как с продолжением ночного кошмара... Все, что Мышкин говорил потом, начисто прошло мимо его сознания. Честно говоря, он мучительно старался проснуться. Для чего украдкой довольно сильно ущипнул себя за ляжку. Резкая боль подтвердила реальность происходящего, а заодно и его абсурдность.

«Теперь будет синяк... – обреченно подумал Харонский. – Интересно, о чем он столько времени говорит?» Семен Аркадьевич сделал над собой титаническое усилие и сосредоточился, стараясь уловить в тех словах, что произносил Иван Борисович, хоть какой-то смысл.

– Бред! Бред! И еще раз бред! – раскачиваясь, как ванька-встанька, талдычил Мышкин.

Так что Харонский вновь ни черта не понял.

– В-ваня! – чуть не плача, взмолился он. – Р-ради в-всего св-ятого, д-давай в-встретимся п-позже. Я-я же оп-поздал. М-м-меня Ар-ра д-давно ж-ждет!..

– Да, да! – засуетился Иван Борисович. – Конечно же беги! Я тебя ни в коей мере не смею задерживать! – однако, несмотря на свое заявление, он не только не отпустил Семена Аркадьевича, но и еще крепче притянул его к себе. – Сема, я на тебя надеюсь... – вдруг нежно проворковал он. – Да, да, как на Господа нашего, Иисуса Христа! – и Мышкин, на мгновение ослабив хватку, ткнул пальцем в небо.

И, надо сказать, поступил опрометчиво: Харонский тут же воспользовался этим и, нырнув ему под руку, затрусил к служебному входу.

– В-ваня, – крикнул он на бегу, – мы в-все обсудим и об-бязат-тельно р-разберемся...

Мышкин рванулся было за ним, но тут в конце переулка под руку с шатающимся из стороны в сторону Трофимом Тарзановым появился Лешка Медников. Иван Борисович заметался в колоннах, как муха в паутине. Но на его счастье Тарзанову, все время старавшемуся вырваться из цепких Лешкиных рук, внезапно удалось освободиться.

Он в ту же секунду оказался на проезжей части. Там он предпринял отчаянную попытку станцевать нечто невообразимое, выкрикивая на мотив вальса «Амурские волны» матерные частушки.

Медников, за своими хлопотами загнать не ко времени разбушевавшегося джинна назад в бутылку, так и не заметил мечущегося в колоннах Ивана Борисовича; и тот, благополучно добежав до служебного входа, скрылся в театре.

В Стремянном же переулке веселье продолжалось своим чередом; и лишь отсутствие в данный момент людей и транспорта не повлекло за собой вызова дежурного наряда милиции, которым чаще всего заканчивались все выступления Трофима вне стен театра.

Впрочем, следует отдать ему должное, он и в славных его стенах позволял себе учинять дебоши, но значительно реже: обычно в день открытия и день закрытия сезона. Поскольку именно в эти два знаменательных дня ему все сходило с рук.

В день открытия, когда возмущенная общественность требовала немедленного увольнения Тарзанова, к тому моменту уже спящего богатырским сном, вдруг выяснилось, что на его специфические роли нет замены – и его не увольняли. А в день закрытия, сразу после дебоша, таковое решение хоть и принималось в экстренном порядке, но, ввиду отсутствия кворума на заседании месткома, не утверждалось, а откладывалось до начала будущего сезона.

А далее смотри все сначала...

Драма Тарзанова заключалась в следующем: на выпускном спектакле в Щукинском училище Трофим блестяще сыграл Тень в Шварцевской сказке. Но первая серьезная актерская удача его и сгубила. С тех пор, где бы он ни работал, ему поручали исключительно

роли призраков. И как результат – Тарзанов запил, так как справедливо считал, что не пить, будучи, например, Тенью Отца Гамлета, немислимо.

А после того, как в предъюбилейном спектакле Пржевальского он сыграл Призрак Коммунизма, который в течение всего действия сомнамбулой бродил по карте Европы, запой стал уже практически его перманентным состоянием.

Но добро пил бы он себе втихую, кто ж у нас из актеров, спрашивается, граждане, об ту пору не пил, но ведь, он, подлец, выпив, позволять себе стал всякое. И, заметьте, публично. И не так, как сейчас, скажем, матерные частушки – это еще детские шалости, с кем не случается, можно сказать, исконно-русское состояние души. У кого б за такую малость рука поднялась кинуть в него камень.

Нет, за частушки у Трофима неприятности бывали разве что бытового характера: ну, иной раз морду слегка набьют или же на худой конец в вытрезвитель доставят, откуда на следующий же день выпустят – присмирившего и помытого.

Однако частушками дело не ограничивалось. После них Трофим впадал в некое, по меткому выражению Пржевальского, «мистико-демократическое состояние» и тихим загробным голосом, каким обычно говорил, играя всемирно известного Призрака, начинал произносить речи, за которые еще лет бы пятнадцать тому назад его сгребли как миленького, рученьки за спину и... пропал бы, голубчик, сгинул безвестно...

Теперь же, благодаря временному либеральному настроению общества, распоясавшийся Тарзанов нес такое, что даже Арсентий, считавшийся в Москве человеком безудержной храбрости, даже он вздрагивал порой, и короткие жесткие волосы на его голове от речей Трофима становились дыбом. Да, да, представьте себе...

А ведь смел, храбр был Арсентий...

Это же у него в спектакле Чацкий посмел обратиться вопрос «А судьи кто?» – прямо в зал. И не где-то на периферии, на шефском спектакле для передовиков села, а на премьере, непосредственно в первые ряды, где сидела полном составе комиссия Министерства культуры СССР во главе со всемогущим своим председателем. Особенно славен в театральных кругах этот деятель был тем, что на обсуждении постановки русской сказки в одном из соседних театров, подводя черту, он глубокомысленно изрек: «Ну что же, товарищи, жанр, по-моему, всем ясен – это «лобок»!»

И вот такому-то культурному деятелю, не ведающему различия между направлением в народном творчестве и интимнейшей частью женского тела, Арсентий осмелился, как перчатку, кинуть в лицо вопрос: «А судьи кто?»

Каково, граждане?

И, тем не менее, даже он ежился от томящего предчувствия неизбежной кары за речи, произносимые как-никак актерами вверенного его попечению театра. Ведь один Бог ведает, что Трофим несет в других-то местах?.. За ним разве уследишь...

Одним словом, ужас!

С каждым годом Арсентий все острее чувствовал, как тяжела она – шапка Мономаха. И разве с одним Трофимом хлопот не оберешься, ведь есть же еще и другие. Чего только один Черносвинский стоит. Да и Мышкин Иван Борисович, честно говоря, не подарок – со своими бесконечными лямурами...

А тут еще – повседневные заботы.

Премьера уже объявлена, а у Семы Харонского с декорациями полный завал. Что-то у него в последнее время не клеится. Перестал с людьми общий язык находить. Завпост, уж на что святой человек, а и тот терпение терять начал.

«Я ему говорю, – не далее как вчера жаловался Питирим Никодимович Шпартюк, – где после «Гамлета» лесу-то взять? – завпост в слове «Гамлета» делал ударение на втором слоге. – Весь лимит подчистую выбрали. А Сема-то Аркадьич прямо свихнулся вроде на

старости лет, Нет, я же к нему со всем уважением, он, можно сказать, гениальный талант, как-никак вместе восьмой спектакль лепим... Но раньше-то все чинно-благородно было: один тебе задник, две стенки, кубов поразбросаем – и все дела. Остальное – светом работали, а свет – уже Милькиса забота. Опять же, костюмы... Раньше всех поголовно – и мужиков, и баб – в трико черное оденем: хоть ты, скажем, Люлька Черносвинская, хоть сам Иван Борисович... Ну, еще там воротничок или же пелерину с жилеткой – такое еще куда ни шло... А теперь? Полгода пошивочный не разгибаясь строчит – и не успевают люди! А он говорит: берите еще двух человек. Где взять? Тут, того и гляди, те, что есть, разбегутся. Так по-черному они и в ателье вкалывать могли и, между прочим, не за такую сраную зарплату. Людям, – Питирим Никодимович и в этом слове ударение ставил на втором слоге, – на себя поработать времени не остается. Тут же, извиняюсь за выражение, рабочий класс, мать его ети, а не актеры ваши долбанные, извиняюсь еще раз, прости Господи. А ведь и тех когда никогда на съемки отпускают, подхалтурить, потому что понимают – тоже ведь какие ни наесть люди, а на одну здешнюю зарплату не нажикуешь...»

Что правда, то правда, хоть и не любил Пржевальский кино, а все же, скрепя сердце, давал актерам такие разрешения. Чаще всего Ивану Борисовичу, конечно, но и другим тоже давал. Дело-то такое деликатное, зарплата в театре действительно... эх... попробуй, не дай подхалтурить – загрызут!

Вот и сегодня на репетиции отсутствовала Лизочка Веткина, отпущенная третьего дня в Одессу на съемки какой-то, на взгляд Арсентия, совершенно никчемной и даже вздорной историко-революционной картины. Она в ней воссоздавала образ легендарной французженки, разложившей морально в боевом восемнадцатом году Бог весть каким способом всю французскую эскадру. Впрочем, по всем нашим учебникам выходило, что это исторический факт. Вот они там и экранизировали учебник.

Сейчас Арсентия отсутствие Лизочки не просто раздражало, а приводило в состояние, по внешним своим проявлениям больше всего похожее на приступ белой горячки. Он выкрикивал нечленораздельные слова, ерзал в кресле, жадно пил воду из графина, потом внезапно начинал грубо иронизировать по поводу кино вообще и Одесской киностудии в частности. Но иронизировал как-то уж слишком беспомощно и не остроумно, чего с ним в другое время не случалось.

То, что сейчас происходило на сцене, судя по выражению его лица, доставляло ему просто физические мучения. Черносвинский хрипел сегодня сильнее обычного, мало того – абсолютно не знал роли и нес по подсказке несусветную чушь, заикаясь, как двоечник у доски. Но и остальные были не лучше: путали текст, противно кашляли, говорили насморочными голосами и двигались по сцене с проворством енотов, готовых впасть в спячку.

Одним словом, прямо с утра и у Пржевальского все шло наперекосяк. Видимо, и впрямь, день такой выдался. Что-то такое в воздухе было: скандальное...

Арсентий с отвращением думал, что, пожалуй, способен сейчас собственными руками задушить кого-нибудь. Он старательно гнал от себя кровожадные отелловские настроения, но они с такой настырностью овладевали им, что Пржевальский изо всех сил вцепился руками в подлокотники кресла, закрыл глаза и постарался расслабиться.

Но тут он услышал у себя над ухом слегка задыхающийся шепот: «П-прости, А-ара, я н-немного оп-поздал...»

Пржевальский вздрогнул от неожиданности и, оглянувшись, встретился взглядом с беспокойными, мечущимися глазами Семы Харонского.

И хотя в темном пустом зале свет исходил лишь от крохотной лампочки на столе перед главрежем, и высвечивала она только нижнюю губу да часть подбородка Арсентия, но по тому, как сладострастно дрогнула эта губа, а подбородок воинственно выдвинулся вперед;

застывшие на сцене актеры с облегчением поняли, что вождельный Козел Отпущения наконец найден.

Понял это и сам Козел, для такого понимания вовсе не нужно было быть семи пядей во лбу. Под внезапно недобро повеселевшим взглядом Пржевальского Сема заерзал на месте, безрезультатно пытаясь вжаться поглубже в кресло.

– Семен! – с пафосом произнес Арсентий. – Твое вызывающее поведение уже выше моих сил! Ты что же – уморить меня собрался? Что у вас там за канитель с завпостом? Это же уму непостижимо. Два взрослых, умных мужика договориться не могут по таким пустякам. Ты же знаешь, премьера на носу!

– З-знаю! – выдавил из себя несчастный Сема и вновь успел подумать: «Сон в руку!»

Но Арсентий его не услышал. Создавалось впечатление, что он оседлал своего любимого Терека и несется навстречу врагу, судорожно выдергивая из чеканных ножен кривую турецкую саблю. Рот его перекосила судорога, и Сема буквально почувствовал, как, опалив висок жарким ветром пустыни, просвистел над его головой звонкий дамасский клинок. И дальнейшая речь Пржевальского на речь похожа не была, так как не содержала никакой информации, а лишь, как показалось всем присутствующим, победный маджахетский визг: «Алла, алла! Джахат! Эа! Али Салават!»

– Он его сейчас убьет! – сквозь зубы прошептала мужу стоящая на сцене Люля Черносвинская.

Игорь краем глаза, так как стоял он к Арсентию и Семе в профиль, мгновенно оценил обстановку и также сквозь зубы ответил: «Морально, но до смерти!»

– Между прочим, это твоя порция, Игорек! – ртом, застывшим в фальшивой улыбочке, сказала Люля.

– Процентом шестьдесят, – согласился Игорь, остальное – ваше, мадам! – покосившись на бушевавшего главрежа, Игорь слегка раскланялся, но тут же застыл как ни в чем не бывало.

Впрочем, Пржевальскому было не до него. В кавалерийском азарте он сек Сему до малосольно-капустного состояния. Из того уже тек обильный пот, пряный, как рассол.

Откуда-то из темноты набежал Мышкин и тут же затравленно шархнул назад, успев все же сочувственно закатить глаза и поцокать языком. Его мимолетная поддержка странным образом сказала на Харонском. Как будто очнувшись ото сна, он внезапно распрямился во весь свой небольшой рост и заорал срывающимся голосом:

«А-а-рсентий С-саматович, а-п-па-пашу на м-меня н-не к-к-кричать!»

– А я попрошу, Семен Аркадьевич, срочно утрясти все вопросы с Питиримом Никодимовичем и после репетиции доложить мне о результатах! Я буду ждать в кабинете директора!.. – Арсентий в полном изнеможении рухнул в кресло. Раздражение, как гной из выдавленного нарыва, вытекло наружу, и он с облегчением почувствовал, как на смену душевымаывающему неудовольствию всем приходит желанный покой. Еще раза два по инерции дернулся мускул на лице, и гулко бухнуло сердце, сбрасывая обороты.

Пржевальский легко вздохнул и обратил свой взор на сцену. Там, по-прежнему застыв в тех позах, в которых их застала кавалерийская атака главрежа, стояли муж и жена Черносвинские, а также Зюня Ротвейлер. Да, да, тот самый, из сегодняшнего сна Семы Харонского, но на сей раз из плоти и крови. Настоящий. Впрочем, при всем том ничуть не лучше, чем во сне. Зюня, чего там скрывать, был изрядная гнида.

– Продолжим! – как ни в чем не бывало предложил Арсентий. – Игорь, давай попробуем с выхода дяди... Но только я тебя умоляю, ради всего святого, возьми себя в руки. Я понимаю, как противно брать в руки такую гадость, а тем более с утра, но я уж тебя очень попрошу, будь добр, ради меня...

Игорь было собрался пропустить как-никак заслуженную колкость Арсентия мимо ушей, однако не тут-то было; хохмач и склочник Зюня возник за его левым плечом и зашептал: «Получил по сусалам, поэт-песенник земли русской? Роль учить надо, а не песенки писать!», – Зюня, прикрывшись ладонью, гнусно захихикал.

Грань, где он переставал шутить и затевал склоку, была настолько тонка, что заметить ее мог только истинный специалист. Есть такая шутка: «Что может быть в театре хуже актера?» И ответ: «Актриса!» Так вот Зюня был даже хуже Заратустры Сергеевны Кнуппер-Горькой, которая славилась своей язвительностью с дореволюционных времен. Ни один скандал в театре не обходился без деятельного Зюниного участия. Причем, самого что ни наесть пакостного. И, тем не менее, – для нетеатрального человека такое может показаться извращением, нонсенсом, своего рода мазохизмом, – Зюню в театре любили.

– Что там за шепоты? – почти благожелательно спросил Арсентий. – Мы начнем наконец репетировать?

– Сию секунду, Арсентий Саматович! – с невинным видом пообещал Зюня и, шаркая плоскими ступнями, отправился в противоположный конец сцены. – «Моя фамилия Поплавский... – скучным голосом подал он первую реплику. – Я являюсь дядей...»

Игорь прижал к глазам огромный клетчатый платок и зарыдал в голос.

«...покойного Берлиоза...» – дожеввал клистирным голосом конец реплики Зюня. После чего возникла нелепая пауза. Игорь, прикрываясь платком, пытался разглядеть текст, который неподалеку от него в левой кулисе держала Люля. Но, к несчастью, ему при его близорукости никак не удавалось прочесть ни одного слова. Арсентий терпеливо ждал продолжения сцены. Наконец Люля сообразила, что Игорь ни черта не видит, и поспешно начала ему суфлировать:

«Как же, как же... Я, как только глянул на вас, догадался, что это вы!» – лихорадочно зашептала она.

«Как же, как же! – радостным голосом зачастил за нею Игорь. – Я, как только глянул на вас, догадался, что это вы-с!»

«Горе-то, а? – продолжала шептать Люля. – Ведь что же такое делается? А?»

«Горе-то, а? – возопил Игорь, как бы невзначай делая несколько шагов к кулисе. – Ведь это что такое делается? – он как бы в порыве отчаяния сделал еще несколько неверных шагов и, о счастье, оказался почти вплотную к вожделенному тексту. – А?!» – издал он победный клич, впрочем, на сей раз не отступая от первоисточника.

«Трамваем задавило?» – вынужденно поворачиваясь за ним, ехидным голосом водевильного педераста поинтересовался Зюня.

«Начисто! – отрапортовал Игорь. – Я был свидетелем! Верите – раз! Голова – прочь! Правая нога – хрусть, пополам! Левая – хрусть, пополам!». Отбарабанив последнюю фразу, Игорь заглох, как врезавшийся в дерево автомобиль.

В экземпляре инсценировки, который держала перед ним Люля, этими словами заканчивалась страница. Зюня невозмутимо молчал, ожидая конца реплики. Молчал и Игорь, отчаянно сигналив Люле глазами, переверни, мол, страницу, дура.

Но та, как назло, за мгновение до того отвлеклась, уставившись в западногерманский каталог «Неккерманн», который просматривала у себя за помрежевским столиком Леночка Медникова. Леночка на беду Черносвинского в тот момент дошла до страниц с женским бельем, и Люля застыла, как змея под дудкой заклинателя, и только время от времени непроизвольно облизывала свои пухлые губы.

Игорь беспомощно оглянулся на Зюню, тот с притворным сочувствием покачал головой и тем же приторным голосом осведомился:

– Вы, очевидно, хотели сказать: «Вот до чего эти трамваи доводят!»?

Игорь, чувствуя, что терять ему уже нечего, не менее противным голосом нахально подтвердил:

– Да, именно это я и хотел сказать, дорогой дядя! Удивительно точно вы сформулировали: «Вот до чего эти трамваи доводят!»

После такой обоюдной наглой отсебятины, боясь глянуть прямо, оба стали косить в зал на столик главрежа. Но Пржевальский не подавал никаких признаков неудовольствия; и Зюня, после некоторой заминки, решил продолжить.

«Простите, вы были другом моего покойного Миши?» – поинтересовался он.

А тут и Люля как раз оторвалась от «Неккерманна», так как страницы с женским бельем закончились. Оглянувшись, она тут же поймала Игорев дикий взгляд и поспешно перевернула страницу.

«Нет, не могу больше! – как прорвало Игоря. – Пойду приму триста капель эфирной валерьянки! Вот они трамваи-то!» – и он с чувством исполненного долга отправился за кулисы.

«Я извиняюсь, – поспешно закричал ему вслед Зюня, но все равно не успел. Игоря со сцены как корова языком слизала. И поэтому осиротевший Зюня неведомо кого спросил: – Это вы мне дали телеграмму?»

Не получив ответа, Зюня сделал несколько шагов вслед за Игорем, но со сцены так и не ушел, остановился у кулисы, соображая, что делать дальше. Вдруг он увидел за противоположной кулисой стоящего с обреченным видом Феликса Иванова и начал делать ему отчаянные знаки, приглашая на сцену. Феликс же тупо ждал конечной реплики Игоря и на знаки Зюни не обратил ни малейшего внимания. Ожидание его, впрочем, ничем не закончилось: реплики не последовало, и он так и не сдвинулся с места.

У Иванова еще со студенческих лет завелась кличка Ченч не глядя. Чем он там, закрыв глаза, махнулся, с годами забылось, а кличка осталась. Наряду и с другой, ласковой – Фелочка. Фелочка Ченч не глядя с утра пребывал, по собственному удачному выражению, в недоперепойном состоянии, то есть вчера принял на грудь больше, чем мог, однако меньше, чем хотелось. И сейчас расплачивался за содеянное. Единственное, что он в состоянии был сообразить: если сию минуту не опохмелится, то на сцену не выйдет ни за что – пусть ему Игорь хоть десять раз подряд подаст конечную реплику...

Но недаром говорят, дуракам и пьяницам везет; что-то щелкнуло в голове у Пржевальского, и он, так и не дождавшись конца сцены, объявил перерыв.

Зюня тут же, облегченно вздохнув, зашаркал к Фелочке, который совсем уж было наладился слинять в гримерную, где у него за зеркалом был заныкан шкалик.

– Ребята, есть анекдот! – ухватив Иванова за рукав пиджака, объявил он.

Тут же набежал кворум: слушать Зюню любили. Тот, не отпуская Фелочку, начал:»

– Учительница в школе говорит ученикам: «Дети, завтра у нас в школе будет арабская делегация. Хаимович, Абрамович и Иванов по матери в школу могут не приходиться!»

Кворум захохотал, искоса ехидно поглядывая на Фелочку Иванова.

Поскольку тот как никак был как раз тем самым Ивановым по матери, и лучше всех о том знал язва Зюня, который вместе с папой Фелочки Изей Файнциммером когда-то учился в одном театральном училище.

Про папу Ченч не глядя вспоминать не любил, а посему опрометчиво затеял какую-то невнятную дискуссию по национальному вопросу, упирая главным образом на то, что даже в государстве Израиль национальность считают по матери.

Зюне того только и надо было.

– Да уж, – тут же встрял он, – по матери и у нас любят! – и, похлопав наполовину Иванова по плечу, успокоил. – Не дрейфь, Фелочка, все равно бьют не по паспорту, бьют – по морде.

И вот вместо того, чтобы в гримерной поправлять свое здоровье, Ченч не глядя занялся совершенно безнадежным делом – попытался уесть Зюню. Мало того, что в данный момент, в силу недоперепойного синдрома, Фелочкины умственные способности оставляли желать лучшего, ему и в нормальном состоянии далеко было до Зюниного класса. А посему, не прошло и пяти минут, как тот смешал Ченча с таким количеством дерьма, любой половины которого за глаза хватило бы на всю труппу.

Кончилось тем, что Фелочка так и не опохмелился.

– Начинаем! – со своего места объявил Арсентий, и перерыв закончился. – Игорь, ты где? – позвал главреж.

Черносвицкий тут же возник на сцене. За время перерыва он старательно вызубрил сцену, в силу чего был абсолютно спокоен.

– Начнем с твоего ухода, – подумав, решил Пржевальский, – что-то там, помнится, было не так...

– Там просто ничего не было так... – пробормотал Зюня себе под нос.

– Вы что-то сказали, Зиновий Моисеевич? – поинтересовался Арсентий.

– Нет, это я повторял роль. Чтобы не забыть, как некоторые... – нагло соврал Зюня.

– Ну-ну... В таком случае, начнем с вашего вопроса о телеграмме, – предложил Арсентий, – вы его, надеюсь, не забыли?

– Ни в коем разе, Арсентий Саматович! – строя главрежу честные голубые глаза, отпартовал Зюня. – Я его как раз сейчас и повторял про себя...

– Ну, в таком случае, если вас не затруднит, повторите его, пожалуйста, вслух, – попросил Пржевальский.

– Не затруднит! – ответил Зюня. Арсентий на сей раз промолчал. Таким образом, последнее слово осталось за Зюней. Он удовлетворенно вздохнул и, обратив взгляд на Игоря, который тут же принял скорбную позу, дребезжащим голосом спросил: «Я извиняюсь, это вы мне дали телеграмму?»

«Он!» – ответил Игорь и указал на кулису, где, страдая, стоял Фелочка, после чего горестно завопил:

«Нет, не в силах, нет мочи, как вспомню: колесо по ноге... Одно колесо пудов десять весит... Хрусть! Пойду, лягу в постель, забудусь сном...» – после чего, не спеша, с достоинством покинул сцену.

На смену ему появился Ченч не глядя. На него тяжело было смотреть. Он двигался по сцене, как сквозь густое повидло, всем своим несчастным видом выражая протест против предстоящего ему непосильного дела.

«Ну, я дал телеграмму... – Фелочка жевал слова непослушным полным слюны ртом и с превеликим трудом в почти неузнаваемом виде выталкивал их наружу. – Дальше что? – он замолчал, тяжело дыша, и лишь после долгой паузы смог продолжить. – Я, кажется, русским языком спрашиваю – что дальше?» – и соврал, ибо то, что у него вышло, русским языком назвать было никак нельзя. Получилось примерно следующее: «Я ка-эца фус-ким яфыком спа-аши-аю – фто д-а-аше?»

– Что, что, что? – переспросил из зала Пржевальский. – Как вы изволили выразиться? Если вам не трудно, Феликс Израилевич, повторите, пожалуйста!

Но повторить Феликсу Израилевичу Иванову по матери было именно трудно. И хотя он, надо отдать ему должное, сделал еще одну попытку, но с результатом гораздо худшим, чем предыдущий.

– Ага! – понимающе сказал Арсентий, – вам, по-моему, следует пойти прогуляться! – поставил он диагноз.

Пациент, полностью согласный с ним, моля в душе Бога, чтобы благодетель не передумал, мелкой трусцой понесся в гримерную.

– Леночка! – окликнул Пржевальский Медникову. – Организуйте-ка и мне стаканчик... чайку...

Леночка, отложив в сторону «Неккерманн», бросилась выполнять его просьбу.

В репетиции образовалась черная пауза, как дыра в гнилом зубе. Ее тут же заполнила Наталья Игнатьевна Врубель – заведующая литературной частью театра, та самая, которая, по словам известного кинорежиссера, пьесы читает вверх ногами.

И вероятнее всего, не врал кинорежиссер, ибо бывшая актриса, а ныне вахтерша театра, Луиза Марковна Людовик-Валуа, хорошо знавшая всю семью Натальи Игнатьевны, утверждала, что привычка-то у нее, оказывается, наследственная. И отец завлита – Игнатий Аполлинарьевич, народный артист СССР, и дед, Аполлинарий Маркелович, актер Его Величества Императорских театров, – пьесы читали таким же макаром.

Вообще милейшая старушка Луиза Марковна обладала незаурядной памятью, в которой поместилась вся закулисная история русского и советского театра. Не последнее место в ее рассказах занимал Игнатий Аполлинарьевич Врубель. Истории о его похождениях с одинаковым успехом могли бы послужить сюжетами, как для русских былин, так и для французских бульварных романов.

А уж до чего красив и мужественен был Игнатий Аполлинарьевич! Ни в сказке сказать, ни пером описать. И вот Наталья Игнатьевна полностью унаследовала от него всю его мужественную красоту и красивую мужественность. В роли Ильи Муромца она была бы просто неотразима.

Но, к несчастью, у Судьбы таковой роли для нее не нашлось.

И такая несправедливость, естественно, не могла не наложить свой отпечаток на ее характер. Впрочем, характер, как и внешность у Натальи Игнатьевны был наследственный. В папашу. С ним в запале сладу не было; вот и Наталье Игнатьевне ни на язык, ни под горячую руку лучше не попадайся. Кроме дурного характера, славилась она также своим вкусом. Был он у нее безукоризненным и подводил ее разве что только в одном: в мужчинах.

Наталью Игнатьевну, как всякого нормального человека, тянуло к противоположному полу. А так как наследственный запас мужества все не иссякал, то нравились ей исключительно хрупкие, эфемерные юноши с ломающимися изнеженными голосами и плавными движениями всех частей тела. Чаще всего, безответно. Что наполняло ее одинокую жизнь непрекращающимися драмами.

Но истинная трагедия разражалась тогда, когда ее избранник оказывался Автором. Конфликт между любовью и долгом буквально потрясал могучий организм Натальи Игнатьевны, пробуждая внутри процессы, равные по силе тем, что некогда сровняли с землей Содом и Гоморру. В такие минуты даже неукротимый Арсентий обходил ее десятой дорогой.

Сейчас был как раз такой случай: автор, он же предмет вождления мужественной дамы-завлита, находился тут же, хотя в первый момент за могучим торсом Натальи Игнатьевны его никто не заметил.

– Ара! – Наталья Игнатьевна была с Пржевальским на «ты». – Ара, – протрубила она, – будь добр, удели мне пять минут... Позволь тебе представить молодого автора!..

Арсентий часто-часто заморгал и начал наливаясь венозной кровью.

– Наталья, – тихо, но грозно выдохнул он, – давай отложим знакомство...

– Я тебя прошу, Ара! – раскатом майского грома перебила его Наталья Игнатьевна. – Неужели нельзя в кои веки исполнить одну мою просьбу?! – она богатырским движением выдернула из-за своей спины зеленого от тоски юношу и водрузила его пред светлые очи гаврежа. Очи метали молнии и готовы были испепелить юного Софокла на месте.

– Дайте свет в зал! – взревел Зевс-громовержец.

Люстра тут же зажглась. И при ее ярком хрустальном свете выяснилось, что в зале, кроме Пржевальского, Натальи Игнатьевны и ее протеже, находится Мышкин и Лешка Мед-

ников с Тарзановым, дремлющим у него на плече. Свет потревожил последнего, и Трофим проснулся.

– Какого... – завопил он спросонья, – ...хрена. Маша, туши торшер!

И тут же в зале объявилась Леночка Медникова со стаканом чая в серебряном подстаканнике. Брата и Ивана Борисовича она увидела одновременно. Они сидели в одном ряду по разные стороны от прохода, таким образом, застыв между ними, Леночка как бы замкнула некий взрывоопасный треугольник.

Все сразу поняли, что сию минуту разразится новый скандал, вернее, продолжится вчерашний, с которым до сих пор еще не разобрались.

Зюня, чтобы не упустить ни малейшей детали из предстоящего безобразия, вышел к самому краю сцены, Игорь, помахав рукой Люле, в смысле, давай за мной, присоединился к нему. Через тридцать секунд на авансцене столпились все находившиеся за кулисами, включая костюмеров и реквизиторов.

Лешка Медников под одобрительный гул собравшихся начал медленно приподниматься.

– Леша, не надо! – отчаянным шепотом взмолилась Леночка.

Мышкин, не вставая, попробовал попятиться, но ручки кресла, в котором он сидел, пресекали его попытку на корню; и он лишь судорожно поелозил ногами по полу.

– Товарищи! – фистулой воззвал он к собравшимся. – Попрошу быть свидетелями!

– Будем, будем! – нетерпеливо пообещал Зюня. – Давайте начинайте!

Лешка с выражением лица, не оставлявшим никаких сомнений в его намерениях, сделал решительный шаг к Ивану Борисовичу. Тот, находясь на грани обморока, отчаянно рванулся и вывалился наконец из тесных объятий кресла.

– Арсентий Саматович! – воззвал он к высшей инстанции. – Ну хоть вы на него повлийте! Пресеките своей властью! Мы же, в конце концов, взрослые люди... интеллигентные, некоторым образом...

Это был вопль затерявшегося в пустыне.

Пржевальский, которому романы Мышкина давно осточертели, с не меньшим интересом, чем другие, ожидал развития событий, а посему на вопль Ивана Борисовича не откликнулся. Рядом с ним плечом к плечу застыли Наталья Игнатьевна и ее трепетная пассия. Пассия всю приобщалась к тайнам закулисной жизни и была тихо счастлива. Как выразился бы грубый Тарзанов – поймала кайф выше полового.

Мышкин затравленно оглядывался. Лешка неумолимо приближался. Леночка плакала. Коллеги предвкушали. Спасения не было.

Но вдруг, как истинный призрак, восстал со своего места забытый всеми Тарзанов и, выскочив, пошатываясь в проход, радостно закричал:

– Леночка, деточка, спасительница синеглазая, заставь век Бога молить! – с каковыми словами отнял у тетки царицы, из-за которой, по свидетельству Гомера, заварилась троянская каша, стакан с главрежским чаем. Осушив его залпом, он понюхал край рукава своего свитера и с облегчением крякнул. – Ваше здоровье! – сообщил он всем.

Выходка Трофима круто изменила настроение окружающих. Все хохотали. О Мышкине на какое-то мгновение забыли, и он, воспользовавшись всеобщим весельем, под шумок вскарабкался на сцену и исчез за кулисами.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.